
ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

Открыв в нашем журнале новую рубрику «Из истории Литературного института» (см. первую публикацию в № 2–2015), мы не только не сомневались в её необходимости, но и сожалели, что открываем её лишь теперь, а не сделали этого ранее.

Не требуется многих слов, чтобы обозначить особое значение Литературного института как в истории русской литературы XX века, так и в истории многих литератур народов нашей страны, других стран, близких и далёких. Литературный институт выпустил десятки талантливых поэтов, прозаиков, драматургов, переводчиков, литературных критиков, сотни литературных работников, которые на протяжении многих лет создавали и создают как в столицах, так и «далеко от Москвы» живое пространство слова, сохраняют и даже укрепляют тот книжный мир, время жизни которого, как мы все уверены, далеко ещё не исчерпано. В Литературном институте преподавали не только мастера слова, но и выдающиеся учёные-филологи, историки, философы, деятели культуры...

У этой нашей рубрики, которую надеемся видеть постоянной, не будет какого-то особого плана, особой программы. С нашим институтом связано так много важного в истории отечественной культуры, что мы решили пойти естественным путём: пользоваться попечением наших коллег, друзей, наших выпускников. В их живой памяти — многие знаменательные события и факты из жизни Литературного института, они присылают нам статьи и воспоминания о наших преподавателях, просят публиковать документы из богатейшего архива института, хранящие подробности творческих биографий писателей в их студенческие годы...

Особую ответственность, как нам представляется, мы несём за сохранение памяти о тех наших выпускниках, которые после окончания Литературного института покинули Москву и всю свою последующую жизнь связали с российской глубинкой, именно там черпали своё творческое вдохновение, там переживали горести и страдания, которые выпадают каждому человеку, там находили свои последние радости. Вспомнить их добрым словом, опубликовать, по возможности, те их яркие творения, которым не удалось добраться до читателя при их жизни, — наш вклад в укрепление литинститутского братства, лучших традиций литературной усадьбы на Тверском бульваре.

В. Н. ШТУБОВ

СТИХИ И ПРОЗА¹

Печатается биографическая заметка о выпускнике Литературного института 1975 года, поэте, журналисте, краеведе Валентине Николаевиче Штубове (1945–2013), а также его стихотворения, рассказ и прозаические миниатюры, не увидевшие света при жизни автора.

Ключевые слова: Валентин Штубов, венок сонетов, Николай Гумилёв, экология, районная газета, «Бельская правда», застой.

Валентин Николаевич Штубов родился 21 октября 1945 г. в деревне Афонино Бельского района Великолукской (ныне Тверской) области. В 1964 году окончил среднюю школу, затем служил в армии. В 1969–1975 гг. Штубов учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Работал техником-технологом Ильичёвского судоремонтного завода Одесской области, в многотиражке этого предприятия, библиотекарем, сотрудником ряда газет.

Стихи свои Штубов печатал в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Русская провинция», «Студенческий меридиан», «Библиотекарь», «Техника — молодёжи», в альманахах «День поэзии», «День православной поэзии», «Истоки», «Тверь». Стихи Валентина Николаевича были включены во многие коллективные сборники, в антологию «Русская поэзия. XXI век», звучали по радио.

В 1981 г. в издательстве «Советский писатель» вышел первый поэтический сборник «Время поющих соков». После выхода в 1986 г. в «Современнике» второй книги «Золотые мгновения поля» Штубов был принят в Союз писателей России.

Прозу Штубов писал редко. Но книга «...И вновь я заповедник посетил» стала победителем Всероссийского конкурса «Заповедный», объявленного в 1996 г. экоцентром «Заповедники» и газетой «Комсомольская правда». Эта «лирическое повествование» было напечатано в 1994 г. в виде очерков в районной газете «Нелидовские известия» (Тверская область) и поэтому фактически недоступно читателю. И только после смерти автора, в 2015 г. оно было издано отдельной книгой.

В самые последние годы стихотворные книги Валентина Николаевича выходили одна за другой: «Двенадцать струн» (1998), «Наивные цветы»

¹ Публикация Т. Б. Штубовой и А. В. Штубовой.

Подготовка текста и вступительная заметка М. В. Строганова.

(2001), «Волшебная лампа» (2003), «О Бельская земля!» (2003), «Александр Пушкин» (роман в стихах; 2008), «Улица Победы» (2010), «Душа в заветной лире» (2010), «Есенин Сергей» (2010), «Бельские мотивы» (2011), «Мой Пушкин» (2011), «Бабушка веет бруснику» (2012), «Сонетный лес» (2013), «Моя Вселенная» (2013), «Муки музыки» (2013).

30 августа 2013 г. Валентин Штубов скончался после долгой и мучительной для него болезни, которая могла стать затяжной, но никак не предвещала скорую кончину. До самого последнего дня (и это нисколько не преувеличение) он писал стихи. Одна книжка уже вышла в свет: «Природа — наш вечный ребёнок и грустная вечная мать» (2014). Рукописей осталось ещё... но пока их никто не считал.

* * *

Сейчас столько поэтов, и сейчас столько пишут стихов, что кажется: поэзия, эта амброзия богов, — стала разливным квасом. Сейчас стало труднее не писать стихи, чем писать. Когда я говорю это, я имею в виду не заведомо плохие стихи и не заведомо плохих поэтов, — я имею в виду очень достойных людей и весьма приличные с разных точек зрения стихи. Народ в массе научился писать стихи, и следует признать, что это, в принципе, очень хорошо. Но в таком случае естественно возникает вопрос: а что же такое поэзия, если она доступна всем?

Однако стихи и поэзия — вовсе не одно и то же. Стихи-то доступны всем, а вот поэзия... В том, что поэзия доступна не всем, спасительно убеждаешься, когда читаешь Штубова. Вот в чистом виде поэт — человек, который превращает в поэзию всё, к чему бы он ни прикоснулся. Кажется, это напоминает царя Мидаса, но это только на первый взгляд. Дар Мидаса был губителен: золото обогащало и умерщвляло. Дар поэта живителен: поэзия материально не обогащает, но воскрешает. Поэтому у Штубова утреннее выгуливание собаки — поэзия, первый снег — несомненно поэзия, сосна, шиповник, соседка встретила — а как же? Всё, что он ни увидит, всё, о чём он ни задумается, — всё в его руках становится поэзией. Я написал: «о чём ни задумается», но я не противоречу Пушкину, по словам которого поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. Если бы Пушкин лукавил, то Штубов и вправду не задумывался: что видел, о том и писал. Но ведь Пушкин не лукавил. Как мы, грешные, не задумываемся, что мы дышим, видим, слышим, точно так же и поэт не задумывается, что говорит стихами. Он просто говорит, что предстит перед его глазами. А поскольку перед его глазами целый мир, вот он обо всём этом и рассказывает. Поэзия для него — естественнейшее отправление организма, он не может быть не поэтом, он не может видеть мир иначе.

Кажется, так просто. А вот поди попробуй. Иной и пробует, а получают только метры и рифмы. Поэзия как-то отказывается ночевать у иных.

Что делает стихи Штубова поэзией? — Соппротивление жизни: поэзия вырастает из жизни и перерастает жизнь. Возьмём в руки ком земли: мы можем поклоняться ему как кормильцу, но мы не сможем пережить эстетическое удовольствие, разглядывая его. А цветок, выросший на этом коме земли, слабая былинка, подвластная ветрам и дождям, так и влечёт своей красотой наше восторженное внимание. Точно так же и поэзия: она прорастает из



Литературный институт. Выпуск 1975 года. Валентин Штубов стоит в последнем ряду, в проёме двери в центре.

кома жизни, она в нём находит своё пропитание и оправдание, но она и перерастает этот ком и своей невыносимой красотой опровергает дисгармонию породившей её жизни.

Но для того чтобы завладеть нашим вниманием и опровергнуть дисгармонию, эта слабая былинка-цветок должна преодолеть монолит кома земли. Противостояние тому, что сильнее тебя, и преодоление этой жестокости этой безликой силы — вот главное назначение человека в жизни, вот главное назначение поэта. Внешняя сила всегда безлика и страшна своей безликостью. На её фоне человек кажется слабой былинкой. Ветер клонит её, ветер гонит его. Но поэт сопротивляется обстоятельствам и упорно ищет те трещинки в коме земли, которые поддадутся его напору и выпустят его к солнцу и миру. В противовес тем, кто был эстрадным поэтом, Штубов писал:

На эстраду я не поднимался.
Перед Мирозданием стою —
Жду кометы озорного танца,
О своём страдании пою...

Другие пишут и пишут по моде, Штубов писал — по сердцу. Это и выделяет его среди других. И некогда ему было выходить на эстраду, когда его ждало Мироздание. Разве он жил в Нелидове? в глубокой провинции? Нет, просто и скромно жил в Мироздании.

ИЗ БЕЛОГО В АФОНИНО

Венок сонетов

1

Из Белого в Афонино иду.
 Ну, слава Богу! Кончились занятия.
 Я сразу был в раю в них и в аду.
 Последний — математики проклятья.

Квадратный корень — нет, не смог изъять я.
 Древесный — ближе в нашском саду
 Афонинском; я в нём душой цвету.
 А яблони — ну как девчонок платья.

Ну слава Богу! Я домой иду,
 Смахнув сознанием злую ерунду —
 Котангенсов и тангенсов «приветы»
 И прочую безжизненную бредь.
 И остаётся только одолеть
 Пятнадцать протяжённых километров.

2

Пятнадцать протяжённых километров
 Сквозь ночь и вьюгу — это не пустяк.
 Хозяйка мне сказала: «Ты, дурак,
 Заночевал бы... Двинулся б с рассветом».

Не надо, тётя Лиза... Я и так
 Замешкался. Недобрая примета.
 Домой! Домой! Сквозь вьюгу и сквозь мрак!
 Душа моя — ликующее лето.

Звенят, как пчёлы, в ней десятки строк,
 Что на занятиях сочинить не смог.
 Как в том бедламе было сделать это!
 О, музыка весёлого привета!
 Вперёд, вперёд, дорога из дорог!
 А мне шестнадцать лет... Шатает ветром.

3

А мне шестнадцать лет... Шатает ветром.
 Иду-пою... О чём? Да о любви.
 Как видишь, Нина Зуева, твои
 Глаза душе отраднее рассвета.

Но ты — гордячка... Как печально это.
 Ах! О тебе слова — как соловьи.
 Услышать бы в ответ твои, твои
 Приветные... Да запропали где-то

Вот в этом белом мчащемся аду.
Иду и спотыкаюсь на ходу
О скованность твою и о сугробы.
Но нет к тебе, мне, право слово, злобы.
Одна любовь — ну чуть ли «не до гроба»!
...Как вьюга разгулялась на беду.

4

Как вьюга разгулялась на беду...
Кружатся прямо пушкинские бесы.
Им что — меня дурачить интересно?
Ну что ж! Дудите в адскую дуду.

А я в ответ — советские вам песни
Про яблони на Марсе, жизнь в цвету.
Она и впрямь цвела бы, право, если б
Не подрубили в страшном том году —

Тридцать седьмом... Узнал я, на беду,
По радио... Газеты преподносят
Куль личности, кровавую страду.
Как тяжко, видно, Сталину в аду.
Но не жалею! Сквозь метель иду.
Она дорогу с мыслями заносит.

5

Она дорогу с мыслями заносит.
И правильно! Уж лучше бы не знать,
Не вспоминать. Тебя о том не просят.
Тебе — шестнадцать. Главное — не лгать.

И в комсомол так праведно вступать
Из пионеров ты решился всё же.
Но, праведную веру уничтожив,
Казёнщина вдруг стала подступать

И обрывать плоды в твоём саду,
Какие появлялись из соцветий,
Что галстуками красными цвели...
И ложь-метель взвихрилась, как в аду.
Вот и сейчас она мой путь заносит
И с главным вот — хоронит ерунду.

6

И с главным вот — хоронит ерунду.
Но воскресает главное упорно.
О, золотые солнечные зёрна!
Я вас несу в себе, пока иду.

...Ну что толкнулось в сердце наугад?
Ах, да! В душе опять взлетел Гагарин.
Он высоко нас поднял, этот парень!
Вниз глянуть — затуманивает взгляд.

Земля — в чаду, иль в голубом саду?
«Беречь её нам надо», — он промолвил.
Нацелены десятки грозных молний!
Не разрядятся! Я не пропаду.
Куда нас вымчат дальше годы-кони?
Не думаю. Шатаюсь, но иду.

7

Не думаю. Шатаюсь, но иду.
Ещё и не дошёл до половины.
Метель взывает голосом глубинным.
Порхают строфы с хлопьями в ладу.

Как хорошо, что здесь никто не дразнит
За творчество, как в школе дураки
Мою тетрадку рвали на куски.
Какой для них был идиотский праздник!

Но вот слова метелью не заносит.
Я их восстановил! Светлы, легки,
Моей души они попрали осень!
И возродили летние деньки.
Учителя и школа — далеки.
И встречных нет, никто меня не спросит.

8

И встречных нет. Никто меня не спросит,
Кому свои стихи я посылал.
Ответит Исаковский? Я не знал.
К нему воззвал отчаявшимся гостем.

Смеялись надо мною: «Вот нахал!
Кто он? Кто ты?» Насмешки в горле костью:
Мол, на тебя он просто начихал.
Таких, как ты, букашек можно горстью

Набрать, потом развеять на ветру.
...А Михаил Васильевич ответил
Через две недели! Книжку выслал ту,
Где про стихи, как дальше жить на свете.
И есть ответы на вопросы эти:
Зачем? Куда? ...А ночь сулит беду.

9

Зачем? Куда? ...А ночь сулит беду.
Ну вот — опять отчаянье на сердце.
Хотел ходьбою быстрою согреться.
Куда там? Спотыкаюсь на ходу.

Хотя б о палку, что ли, опереться!
Но дерева я, право, не найду,
Чтоб сук сломать — такую ерунду!
Из-за метели мне не видеть леса.

...Ну вот уж вместо песен — ахи-охи.
И впереди — сплошная целина.
И струи мчатся — как обрывки сна.
...Как королева Снежная сильна!
И хлещет по щекам меня она.
Мне кажется, что сбился я с дороги.

10

Мне кажется, что сбился я с дороги.
В сугробе шарю дрогнувшей стопой.
Но рыхло всё... Ну, прямо волком вой!
Вот — поневоле вспомнишь и о Боге.

Но ведь меня учили: Бога нет.
Прабабушку, которая молиться
Меня учила, гнали атеисты,
От сердца заслоняя дланью свет

Единственный (она мне говорила)
Способный одолеть нужду-беду.
...Я ж в пионеры вышел в том году,
В неверия зловещую нужду.
И вот — перекреститься я не в силах.
Нелепо посветить просить звезду.

11

Нелепо посветить просить звезду —
Она сама снежинкой запропала.
А было ведь лучей её немало!
Она мерцала яблоней в саду.

Во сне такую видел я, бывало,
И кланялся заветному плоду.
Сорвать его силёнок не хватало.
И он качался в огненном цвету.

Вот как моя фантазия играла,
Житейскую отринув ерунду.
Для сердца было этого немало –
Себя в небесном чувствовал роду.
...Ишь как пурга опять забушевала!
Я спички зажигаю на ходу.

12

Я спички зажигаю на ходу.
Нелепое, дурацкое занятие!
Надежду поджигаю... Может, хватит?
Туда-сюда... Неужто пропаду?..

...А что? Не первый в этом я отряде.
Погибли в жизни, словно в злой пурге,
Ровесники в свои шестнадцать, кстати! –
Кто — почему? кто — от чего? кто — где?

...Один снаряд нащупал в борозде.
Стал на него, как будто на пороге,
Пороге смерти... После стал нигде.
Другой пропал в клубящейся воде.
Всех не назвать... И сам я буду где?
Бумагу поджигаю... Свет убогий.

13

Бумагу поджигаю... Свет убогий
Моих нескладных тех черновиков
Дорогу озарить мою готов.
Но это ведь всего светинок крохи.

Да и в душе он слабо греет кровь.
Он был звездой на пушкинской дороге!
Но выстрел оборвал обрывки слов
Божественных! Вот вся «земли любовь».

Об этом размышляю на ходу.
Дорогу ищут — не находят ноги.
Летят за воротник снежинок крохи.
И взор всё не найдёт свою звезду.
Бумагу поджигаю... Свет убогий
Метель сорвала мигом... Но дойду.

14

Метель сорвала мигом... Но дойду.
Ага! Она, злодейка, глуше, тише.
И вижу впереди я, как звезду,
Неясный свет, дрожащий на ходу...

Уж не меня ли встретить кто-то вышел?
Конечно! С фонарём «летучей мышью»
Мой дедушка навстречу... Стал и жду.
И сердце от любви неровно дышит,

Одолеевая вьюжную беду.
Он был ко мне порою слишком строгим,
Мой деда... Только с ним не пропаду –
Он заменил пропавшую звезду!
И вот уже дорогу слышат ноги.
Из Белого в Афонино иду.

15. МАГИСТРАЛ

Из Белого в Афонино иду.
Пятнадцать протяжённых километров.
А мне — шестнадцать лет... Шатает ветром.
Как вьюга разгулялась на беду!

Она дорогу с мыслями заносит
И с главным вот — хоронит ерунду.
Не думаю. Шатаюсь, но иду.
И встречных нет, никто меня не спросит.

Зачем? Куда? А ночь сулит беду.
Мне кажется, что сбился я с дороги.
Нелепо посветить просить звезду.
Я спички зажигаю на ходу,
Бумагу поджигаю. Свет убогий
Метель сорвала мигом. Но дойду.

ВЕРА СЕРГЕЕВНА

Рассказ

Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

Это написал поэт Николай Гумилёв, стихи которого настолько свежи и чисты, что когда-то люди их дарили друг другу, как розы.

Я же хочу сейчас возложить эти цветы на одну неприкайнную и дорогую могилу.

В Первомай городок Белый был торжественно-стандартно-красен: лозунги и плакаты забивали первую зелень. Куцые типа: «Мир, Май, Труд» походили на кирпичи, а «развёрнутые», где марксизм-ленинизм побеждал империализм, словно кишки, тянулись по фасадам всех длинных строений.

Подмели городок, подскоблили — аж бульжники мостовой, как грибы после дождя, зарябили. А в Ленинском скверике — особый марафет: ну, во-первых, бюст вождя «позолотили» — чтобы наравне с солнцем сиял, а

во-вторых, слова его, неизвестно когда и кому молвленные, на ограде укрепили: «Верной дорогой идёте, товарищи!»

И чтобы ещё раз подтвердить, что не зря у вождя они с языка слетели, нужно было дорогой этой самой мимо трибуны кумачовой даже не пройти, а проплыть в грохоте, звоне, криках: «Слава партии родной! Ура-а!..»

Ну, положим себе, те, кто на трибуне, этих слов не кричали. Не по чину. Но и не сказать, чтобы особенно важничали: приветствовали народ, подражая тем, кто в Москве на Мавзолее. «Правительство наше нам шляпами машет», — такое вот двустипшие в моей дерзкой головёнке тогда возникло.

И первое лицо города, кого не иначе как Гром Иваныч называли, этим же самым занималось, давая понять: мол, я не только способен на ковер вызывать да кулачищем грохотать, но и улыбкой в праздник пролетарский могу осчастливить.

Но, ах, недолгим было счастье это. И даже не в облачке, а в туче вдруг улыбка его исчезла, и такой словесный раскат вдруг раздался, что первомайские здравицы заглушил:

— Эт-то что такое?.. Опять?!

— Михаил Иваныч, Михаил Иваныч... — бросился было к нему начальник милиции.

— Что — Михаил Иваныч? Вы-то куда смотрели?

— Ведь предупреждал же, чтобы её не пропускали, — стукнул кулаком о кулак начальник. — Как прошла — уму непостижимо.

— А вы постигайте, постигайте, чтобы партбилета да погон не лишиться! И меры принимайте. Она же весь праздник к нулю свела.

...А она в грязной фуфаечке, из которой вата клоками выпирала, не то в шапочке, не то в берете на распластанных космах, в одной руке — сума дерюжная, в другой — палочка, демонстрацию, так сказать, собой замыкала. Сгорбленная, маленькая, но не жалкая. Черные глаза на морщинно-паутином личике жили своей необъяснимой жизнью. И можно было в них прочесть: да, это я. И я хочу пройти. И пройду. И вы меня не остановите.

И действительно прошла. И не остановили. Да и за что, собственно говоря? Не пьяная. Антисоветчины не кричала. Не дебоширила. Ну, а за внешний вид сажать — нет такой статьи в УК.

Но кипяток в груди у первого секретаря всё клокотал и клокотал:

— Нет, давайте с этим все-таки кончать! Ещё хорошо, что из обкома никого не было... А если бы... Да что мы за партийцы — на какую-то замухрышку управы не найдём?!

— Но как, Михаил Иванович, найти? В психушку направляли, там признали: нормальная. В интернат сама отказывается. А насильно — опять-таки нельзя.

— Ну а если через родственников?

— Да никого у неё нет.

— Но где-то же ночует?

— Знать бы — где...

— Что-о?..

И вновь голову бедного милицейского начальника словесный кипяток ошпарил: если уж в районном городке не узнать, где человек ночует...

Возникала она из ниоткуда и исчезала в никуда. Но зато *где* возникала!

И *как!* Торжественное собрание в городке — она в первом ряду, в своей фуфаячке со своей сумой, открытие памятника — она тут как тут, человек умер — за гробом идёт, крестом себя осеняет, за душу его молится. И главное — всюду молча: ни слова, ни полслова. Только палочкой постукивает, только взглядом холодит.

А заговорила вдруг со мной. Да-да. Стою однажды на автобусной станции, расписание изучаю. И кто-то вдруг тихохонько так меня за локоток. Оглянулся — *она!* Фуфайка, палочка, сума, морщины.

— Юноша, вы не могли бы сказать, который час?

Сказал — и было в сторону: не резон советскому школьнику с нищенкой объясняться.

Но что-то удержало. Пожалуй, это *юноша* и это *вы* — ведь чудно же такое от грязнули услышать.

И вдруг она меня вообще доконала:

— Вы меня простите, но я знаю, что вы писать стихи пробуете. Это замечательно. Не бросайте, пожалуйста. Со временем у вас получится.

Помолчала немного. Потом:

— Только очень вас прошу: найдите и прочитайте стихотворения Николая Степановича Гумилёва.

И ещё раз горячо-горячо, шёпотом:

— Очень вас прошу. Обещаете?

Шёл — и в глазах всё плыло. Фантастика! И про мою писанину знает, и насчёт Гумилёва советует. *Она!* Сказать кому — разве поверят?..

И не поверили. На смех подняли. Сначала одноклассники:

— Ну, Штуба, если уж тебя Вера Сергеевна признала — далеко пойдёшь.

Потом учителя:

— Вы бы, Штубов, лучше по математике хвосты подтянули, а не о стихах болтали, причём с кем попало.

И нашпиговали меня иронией, так нашпиговали, что от меня ею всегда, как чесноком, несло, с кем бы я после о Вере Сергеевне ни говорил.

Но Карпыч, старожил бельский, такого от меня и на дух не принял. Выслушал, сплюнул и долго так, и грустно так мои глаза в своих держал.

— Глупыш ты, глупыш. Что с тебя взять? Ладно. Пошли. Расскажу. Но никому ни полслова, ты понял? Ни-ко-му!

И за локоть меня взял и повёл. А потом словами сердце зацепил и тоже увёл. Далеко-далеко. В другое время. В этом же городке.

...Как говорится, Бог ветки не сровнял, людей тем более. Вот и среди гимназисточек бельских нельзя было двух одинаковых сыскать. Но в одном сходны были — в общении: как не пощебетать при встрече, как не поделиться проглоченным ли романом, письмом ли с фронта от отца, даже сплетней свежей.

Но Вера и от этого в сторонку норовила. Горе девчонку гнуло: мамочка ушла и рукой не помахала, и не поцеловала; вчера была, а сегодня вот — в гробу. Панихиду отец вёл. А кому же ещё? Он — священник. Пусть и по своей жене — вести ему.

— Не печалься, детонька. Смирись. В жизни и смерти Господь волен. — Это он нашёптывал ей потом, ночью, стараясь от плача исцелить, едва свой

уныв. И добавлял: — Маминой душеньке сейчас тепло в раю. Не студи её. Окончи гимназию хорошо, как она просила.

И смирялась Верочка, и страницами шелестела, правда, вот только на рояле порой такое наигрывала, что подружки не выдерживали:

— Да ну тебя, Вер, — сердце разорвёшь.

А отцовское сердце она-таки согрела, прямо в церковь к нему с цветами влетела:

— Пап, поздравь. Золотая медаль.

Долго-предолго молились Господу отец и дочь, благодаря Его за радость, в чайнии новой.

Но сшибли, видать, их молитву, как птицу влёт, из винтовки красногвардейской в том же семнадцатом самозванные хозяева, которые даже у Господа посягнули отнять власть на живот и смерть. Сшибли и в грязь втоптали. И за отцом пришли по навету ложному, и прикладами в ночь выгнали:

— Пошли, долгогривый, проведём в твой рай.

И в землю наганями уложили. И дочери не сказали — где.

Но, творя явное, не ведали безбожники о тайном. Явился к Вере во сне отец и указал то место на пустыре. Мысли её о монастыре отверг и на новый подвиг благословил. На коленях перед образом Спасителя, орошая молитвой и слезами душу, дала Вера обет нищенства.

...Ночью девичья тень, словно облачко, скользила на пустырь, где не было могильного холмика (иначе бы узнали, иначе бы осквернили), и взывала к отцу. Молчала земля, но отвечала с небес душа его, сострадав и указуя.

Утром невесть откуда на улицах появлялось существо в рваной фуфайке, неся какие-то ошмётки и огрызки в кошелёке. Мимо райкома, мимо исполкома, мимо школы, которая когда-то была гимназией.

Обыватели с годами притерпелись: эка невидаль — девчонка-растрёпа, баба-неряха, старуха-грязнуля.

Не притерпелись власти. Нищенка-то нищенка, но милостыню она ни у кого не взяла. А когда один из тузов, щедростью хвастая, мелочь ей какую-то в сумку высыпал, — она эту мелочь в грязь вытряхнула да ещё палочкой погрозила: не вам, мол, мне подавать, не мне у вас брать.

И ещё вот о чём Карпыч поведал. Вечером, приходя в пристанище тайное, где укрывали её и грели, снимала Вера Сергеевна рваные шмотки, долго мылась, причёсывалась, надевала гимназическое платье, на молитву становилась, а потом за рояль садилась, и очищали хмурое неряшливое небо аккорды музыки святой.

То не просто дочь священника и гимназистка бывшая молилась и играла, то Россия прошлая в её лице являлась, бросая вызов России новой, безбожной. Я — нищенка, но я жива, я — нищенка, но я богаче тебя духом, я — здесь, я — рядом, я жду, когда ты опомнишься и прозреешь. И услышишь меня и Бога.

Что создадим мы впредь, на это власть Господня.

Но что мы создали, то с нами посегодня.

Н. Гумилёв

БЕЛЬСКИЕ ПРИКОЛЫ

САМОЗВАНЕЦ ДЯДЯ ФЕДЯ

Кавельщинская семилетка окончена.

Как хотелось, что она была десятилеткой! Преподаватели родные, и мы, ученики, родными стали: так бы и в жизнь войти «коммунистическим классом», как один из нас пошутил...

Увы! Оставшиеся три года предстояло заканчивать в Белом — в «иной республике».

Деда сказал: «Насчёт квартиры не беспокойся, я договорился с Фёдором Ивановичем Андреевым, ветераном двух войн. У него орден Красное Знамя за гражданскую сто какой-то...»

Приехали. Знакомлюсь. Мне хозяин отвёл маленькую комнатку. Тумбочка завалена грудой газет — пожелтевших и свежих. Я их складываю поодаль: нужен и мне уголок...

Мне подворачивается местная со статьей «Встреча с Ильичом» за подписью *Ф. Андреев*.

У меня, пятнадцатилетнего, захватывает дух: у кого я на квартире нахожусь!

— Дядя Федя, вы общались с Лениным?

— Да, подсчастлило...

— Расскажите...

— Читай. Там всё сказано.

Читаю... Август 1920 года. Дядя Федя подвёз троих охотников с Оленина до Нестерова... По пути засомневался: очень один похож на Ленина, видел его на броневике, и признался в этом Ильичу.

И тот сказал:

— Ну что ж... будем ещё раз знакомы...

И у дяди Феди вырвалось:

— Я в отпуске по ранению... А, хоть не всё зажило, на следующей неделе попрошусь на фронт.

Ильич одобрил:

— Молодец! Если бы все так поступали...

И руку ему пожал.

В Бельской библиотеке я читаю этот мемуар Андреева в книге «Всё в нашем сердце».

Директору школы объяснил, тот дядю Федю на ленинские торжества пригласил; перед ребятами старик счастливую слезу пустил:

— Ах, как мне подсчастлило... — И — аплодисменты...

... Оказалось, дядя Федя пишет стихи!

Куда мне, начинающему, до него! Читаю стихотворение «Журавли»:

Затосковав по русской доле,
Из-за морей, с чужой земли,
Набив под крыльями мозоли,
Летят на север журавли...

И рядом с публикацией его рукой написано: «План стихотворения “Журавли”: намаялись птахи вдали от Родины, и вот летят к ней...» Оказывается, прежде чем написать стихотворение, нужен план. Я так не умею!

Уже потом, раскрывая сборник Владимира Кулагина, встретил знакомый текст: «Затосковав по русской доле...» И дальше так, как у дяди Феди.

И встреча с Ильичом ему приснилась...

А как хотелось бы!

Вот так самозванцы на Руси и рождались.

РЕПОРТАЖ С ГРАНЁНЫМ СТАКАНОМ

Я поступил на работу в редакцию «Бельской правды» в 1968 году не сразу — «через тернии к звёздам».

Закончив армейскую службу, вернулся в родные места не совсем «по-хорошему». Три года — столько тогда носили армейскую форму, застёгнутую наглухо, стягивающую шею и душу, — форму, как бы олицетворяющую тогдашний порядок-распорядок — чтоб «от и до», а дальше — ни-ни... Нет! На нашу долю не выпадали, слава Богу, Чечня и Афган, но у наших ребят-солдат путь тоже был далеко не счастливым. Осознание своего долга, ненавязчивое чувство патриотизма, привитое с детства в школе, натыкались на формализм, несправедливость, хамство, солдафонство, словесные зуботычины начальства, зачатки дедовщины — словом, всё то, о чём позже справедливо, жёстко и выпукло написал в своей теперь широко известной книге нынешний редактор «Литературной газеты» писатель Юрий Поляков.

В самом конце службы у меня произошёл тяжкий конфликт с армейским начальством: были найдены мои антисолдафонские стихи, в которых звучал протест против творящейся вокруг несправедливости. Я их читал в каптёрках, «дежурках» под одобрение сослуживцев, но, как водится, кто-то донёс.

Тогда и гражданское диссидентство преследовалось вовсю, а уж об армейском и говорить нечего!.. Эта «игра в прятки» в тех, «клеточных» условиях, долго продолжаться не могла. Упрятали самого — в спецмедучреждение и вышвырнули наружу, как смятый комок бумаги. Мода на такие расправы тогда внедрялась и поощрялась ведомством Андропова.

«Нет повести печальнее на свете». Но закончилась она, как ни странно, благополучно. Мне удалось войти в жизнь через её выход! И в этом самую благую роль сыграла родная «Бельская правда». До сих пор помню голос Леонида Васильевича Быстрова в кабинете редактора Ивана Павловича Замоткина:

— Не сомневайтесь, Иван Павлович, Штубов — журналист дельный. И никакой он не псих, сами убедитесь.

Подал голос Слава Чудаков, нынешний редактор популярной газеты «Дачники», а тогдашний завсельхозотделом районки.

— Молод. Свежий взгляд. Толково строчит, чего там.

— Зайди, Валентин, — открывает дверь Иван Павлович Замоткин. — Ну что? Поздравляю: материал неплохой. Сам писал?

— Иван Павлович, ну а кто же?

— Я имею в виду: мать не помогала?

— Иван Павлович, ну дайте ещё задание..

— Дадим-дадим, — улыбается. Оценил мою горячность-обидчивость: это верный признак нормальности. — Берём тебя корреспондентом сельхозотдела. Будешь работать вместе со Славой Чудаковым. Только не особенно там чудите, — засмеялся. — Это для разрядки.

«Разрядка» в этот вечер была и другой. Так совпало, что провожали в армию редакционного фотографа Лешу. Стол накрыли. Ну, и неудобно было не пригласить и нового сотрудника. Прихожу. Смотрю на батареи бутылок и закусок. И слышу реплику:

— Штубову-то, наверное, не надо наливать, а то ещё на психике отразится... Ой, он услышал. Прости, Валентин.

Я:

— Ничего-ничего, я и не такое в свой адрес слышал... А насчёт того — можно ли мне выпивать. Можно! Всё мне можно.

После:

— Так ты, оказывается, в доску свой парень! Компанейский.

Убедились. И в другом. Ибо от меня, как по конвейеру, пошли материал за материалом: «изголодались» сердце и перо!

Старался писать о простых людях, их судьбах, помогать им решать наиболее проблемные. В тех условиях делать это было сложно, очень сложно! И тем не менее...

— Слушай, Валентин, вот здесь женщина письмо прислала из деревни Рувово. Дёргают её там попусту. Обижают. Работать не дают. Съезди. Разберись.

Съездил. Разобрался. Ужас: женщина — практически бесправна. Пенсия — тридцать рублей, а на иждивении — девяностолетний инвалид-отец и «нагулянный» сынишка, которым её без конца попрекают — даже местный парторг в этом безобразии участвует! Плачет женщина. Просит: «Защитите как-нибудь. Ну, мой грех — сынишка. Ну что же мне теперь — из-за него вешаться?.. Работать не дают. А жить как?..»

Моя статья, опубликованная в «Бельской правде», в номере от 11 июня 1968 года, называлась «Бездушие». Вышла под рубрикой «Письмо позвало в дорогу».

...Словно гром прогремел!

Звонки:

— Вы что там, с ума посходили?.. Вы *что* печатаете?..

— Это не типично для советской действительности!

Директор совхоза:

— Мы опровержение напишем.

Надо отдать должное Леониду Васильевичу Быстрову, резанувшему в ответ:

— Пишите. А мы комиссию специальную пошлём. Такого у тебя там, уважаемый, накопает, что сам со своего места сбежишь. Лучше по-доброму говорю: помоги женщине, не мытарь ей душу.

И некуда было деваться директору совхоза — пошёл на попятную, правда, огрызнувшись:

— С вами только свяжись...

А мы с Леонидом Васильевичем ещё раз проверили эффект от статьи. Выяснили, усмехнувшись между собой: «Положительный».

Что ещё помнится из той поры? Командировки с ночевками. Особенно одна из них — в село Чичаты, где остановился у бывшего священника. И так был интересен и глубок наш с ним разговор, в котором звучала боль за поруганные святыни, за утрачиваемые совесть и нравственность, что он буквально лёг в мои стихи:

Возле озера Чичатского ночью,
 Со священником былым я говорю:
 — Есть ли Бог?
 — Да! Есть Он, верю, знаю, чую,
 Хоть крещусь порою просто на зарю.
 А ещё сильнее надо нам креститься,
 Как деревья всею силою ветвей,
 Там, где плачут улетающие птицы
 Над могилами разрушенных церквей.

Не забыто и то, как мы, сотрудники редакции, активно включились в субботник — вместе с другими бельчанами таскали камни для фундамента под танк — памятник воинской славы, который сейчас закрывают от глаз густые сосны; а мы ведь их тоже сажали...

А ещё вспоминается, как в мои руки попал найденный на пашне солдатский медальон времён Великой Отечественной. Сохранилась фамилия солдата — *Агачкин*, уроженец города Джамбула, с подробным адресом, написанным химическим карандашом. Мы долго думали-гадали: что случилось с человеком? Погиб? Пропал без вести? И решили попробовать написать в Джамбул по этому адресу. И нам откликнулся... сам Агачкин! Поблагодарил за хлопоты, за память, поделился воспоминаниями о боях под Белым, где и обронил тот самый медальон... И такие чудеса, оказывается, бывают.

..Ну, а что материалы порой за гранёным стаканом писались, это ничего, это для вдохновения. Газета делалась; и делали мы её с мастерством и вкусом.

А разрядка в пору застоя была просто необходима.

Расскажу несколько баек.

Перебои с водкой. Я самый молодой. С чемоданчиком.

Тогда была мода: заходишь в магазин и шёпотом из-под ладони говоришь: «Дайте бутылку водки, или две (для лица вышестоящего)».

Вот я и говорю продавщице (тогда меня ещё не знали): «Дайте две бутылки водки... для Штубова». Та кивает и выносит. Я загружаю в чемоданчик, а она с любопытством спрашивает: «А кто такой Штубов?» — «Я». Надо же было слышать её ругань в мой адрес!

Случай другой. Л. В. Быстров звонит в магазин на площади Карла Маркса по этому поводу. Посылает меня. Я деньги в чемоданчик. Занимаю очередь. Мужики стоят за чем-то другим. Никаких бутылок на витрине. Продавщица растерянно мигает мне: «А как тебе дам водку? Разорвут...»

Я дохожу до неё, чуть ли не падающей в обморок. Говорю: «Вам насчёт соли звонили?» Протягиваю чемоданчик: «Деньги внутри». Она мгновенно ориентируется: «Звонили. А вам какой?.. Крупной или мелкой?» (Крупной — это белой, а мелкой — красной.) — «Крупной». Она удаляется с моим чемоданчиком, выносит его бережно, не дай Боже, звякнет. Протягивает. Мужики: «Соли кому-то понадобилось...»

...Затеваем обед с ею, родимой. Маскировка на случай: графин воды, закуска в тумбочке. Мы со Славой Чудаковым одолели свою норму. Л. В. Быстров берёт стакан, подносит к губам.

На пороге — третий секретарь райкома Александр Степанович Симоненко.

Быстров выпивает содержимое как воду.

— Слушаю Вас, Александр Степанович, — говорит.

И пошёл у них разговор на ответственную партийную тему. Симоненко ничего (или сделал вид, что ничего!) не заметил.

Милые учителя! Вскоре я с вами расстался. Позвал Литературный институт, другие дали-дороги. Провожал меня Фёдор Михайлович Жегунов:

— Ну, Валька, до свидания. Водку я научил тебя пить. А там смотри сам... Вспоминать нашу работу будешь в мечтах. — Прямо как Тарас Бульба своего сына!..

Одoleвал жизненные испытания, выпускал книги. Иногда с нею, родимой, но не как во время работы в Белом. Реже, осмысленнее, по праздникам.

А без меня в Белом вот что было.

Иван Павлович Замоткин уволился, перешёл редактором в Лихославль. Сменить его, конечно же, надо было Л. В. Быстрову, журналисту от Бога.

Леонид Васильевич рассказывал мне:

— Зашёл я после работы в ресторан. Поужинать. И взял двести граммов водки. Поднимаю глаза: напротив меня сидит первый секретарь райкома Дмитрий Михайлович Трофимов и укоряюще говорит: «Да... Не быть тебе редактором “Бельской правды”».

Трофимов борцом с нею, окаянной, прослыл. Его шофёр мне рассказывал:

— Едем мы с ним по полям и весям. Вдруг возле горы Тереховки Дмитрий Михайлович говорит: «Сворачивай». Глушим машину. Подкрадываемся. А на поляне в рабочий день — пир горой. Районные начальники раскрепостились. Зав райпо под смех окружающих говорит: «Ох, увидел бы нас сейчас Трофимов, ой и всыпал бы!» Трофимов из-за кустов: «А будто я и не вижу». Дальше — бюро. По строгому выговору всем «раскрепостившимся».

Трофимов умнее ничего не придумал: вызвал главного инженера совхоза «Бельский» Дмитрия Фёдоровича Власенкова: «Становись редактором». Тот: «Так я же ничего не понимаю в этом деле». Трофимов: «А тебе и понимать ничего не надо. Ты только следи, чтобы они не пили».

Слабо следил Власенков. Некомпетентный в газетном деле. Чем заняться? И запил по-чёрному. Быстров и другие сотрудники его покрывали, говорили: «Мы пьём, и газету делаем... А ты, Дмитрий Фёдорович...» Вдруг Власенков перестал пить и стал в командировки проситься. Сотрудники между собой: «Вот как газетное дело действует на человека...»

Увы! Они ошиблись. Власенков нагледел молодую агрономшу, вступил с ней в связь. А у самого — жена заведующая парткабинетом райкома. Пожаловалась. Бюро. Власенкову — строгий выговор. Уволился. И с молодой агрономшей — в дальние края. Трофимов Быстрову: «Да, с Власенковым наша ошибка... Становись редактором. Ты хоть пьёшь, а дело делаешь».

Репортаж за гранёным стаканом восторжествовал! Такое вот чудо в «застойное время». А по-иному и быть не могло...

КАК ПОСТРАДАЛ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КОРЫТКОВ

Редактор «Бельской правды» Леонид Васильевич Быстров рассказывал мне:

— Номер газеты мы сделали, я подписал... «Ну что ж, коллеги, теперь можно и по маленькой». Посылаем самого молодого: не проходит и десять минут — она, родимая, у нас на столе, да закусь какая! Увлеклись. Расслабились. Анекдоты травим. Вдруг дверь кабинета нараспашку: на пороге первый секретарь райкома Савлевич: «Так. Вот чем пресса занимается». Мы ему низкоклонно объясняем: «Фёдор Васильевич, газету мы сделали. Печатается. Ну, и решили, грешным делом, отдохнуть». Он: «А почему меня не предупредили? Где моя норма?» (Святой человек Фёдор Васильевич! Из наших. А его норма — это хрущёвский стакан.) А где взять? Всё выпито, съедено. «Извините, Фёдор Васильевич, сейчас». С молодым отходим. «Пять минут тебе!» Справился. Ну, вот Фёдору Васильевичу и норма. И мы поддержали.

Как с солнышком, с таким первым секретарём! Светит, а не обжигает. Он — среди нас, языки развязываются, анекдоты рассказывает, в том числе и политические, про Брежнева — никто не выдаст...

Мы давно у него хотели спросить; как получилось, что он первого секретаря обкома Корыткова по матушке послал... И вот спрашиваем.

— Ну, так вот и было. Мой второй секретарь Трофимов горазд под голос Корыткова подделываться. Сижу в кабинете. Звонок: «Товарищ Савлевич, это Корытков, дайте последние данные по льну». — «Сейчас, сейчас, Николай Гаврилович». Достая документацию, сообщаю цифры. Полчаса на это уходит. А в конце трофимовское *ха-ха-ха!* Несколько раз такое было... И вот однажды звонок: «Товарищ Савлевич, это Корытков. Дайте последние данные по картошке». Надоело. Говорю: «Слушай, а не пошёл ты к е...не матери!» И кладу трубку. Из общего отдела бегут ко мне: «Фёдор Васильевич! Звонит Корытков: «Что такое с Савлевичем? Если пьян, домой уведите. Мне данные по картошке нужны, а он, вместо того чтобы их сообщить, меня по матушке послал»». Ну что? Пришлось собирать бюро с представителем обкома партии. Каяться. По строгому выговорёшнику заработали с Трофимовым. Через год сняли. У Трофимова враз отпала охота меня разыгрывать. Голос сел. А Корытков звонит, ехидно спрашивает: «Это Корытков, а не Трофимов, не надо меня матом крыть». Золотой человек Николай Гаврилович был. Много для области сделал — и дороги, и предприятия, и мосты, и так далее... И демократичный: мой мат стерпел. На смену ему назначили Леонова. «Бежал бродяга с Сахалина» — это и про него песня... Там наворовался и здесь ворует. Вот кого бы следовало матом послать. Но кто уже такое в силах... Приходится терпеть. Ещё бы норму!

«Я НЕ ВЕРЮ ВЕЧНОСТИ ПОКОЯ...»

Мне мой друг художник Геннадий Самойлов рассказывал:

— У меня было отрадное место для работы. Бельское кладбище. Деревья, их кроны над вечным покоем. И облака... Отрада для вдохновения и кисти. И тот миг, посетивший душу Николая Рубцова:

Я не знаю, что это такое –
Я не верю вечности покоя!

Как это уловить и осмыслить?

Приехал из Нелидова. Раскрыл этюдник. Думы. А затем неуверенные мазки. Оторвал от раздумий сторож кладбища: «Вы здесь ещё побудете?» — «Да». Буквально через полчаса подъезжает «ящик с музыкой» — так в обиходе зовут ментовскую машину: «Поедьте с нами». Ничего не объясняя, заталкивают в фургон. Следом мой помятый этюдник. Аргумент один: «Там разберёмся»... Разобрались: «Видите ли, сторож сказал: подозрительный человек на кладбище. Как видим, ничего подозрительного. Документы у вас в порядке. Давайте снова отвезём вас на кладбище». «Нет уж! — промолвил я. А про себя добавил: — Я не верю вечности покоя...»

«ПЕРЕМЕНИ КАРАНДАШ!..»

Очередь к директору райпо.

Дефицитный товар на базе — ну там водка, рыба, холодильник и там далее. В магазине — шаром покати.

Директор вникает в нужды посетителей, пишет на заявке красно-синим карандашом (синим цветом): «Выдать».

Человек приходит на базу; облом: «Перед вами всё кончилось».

Один догадался. Снова к директору: «Перемени карандаш!» Тот: «Не всё ли равно». — «Не всё!» Делать нечего: пишет красным цветом: «Выдать!»
Есть товар!

«Подумаешь, бином Ньютона», — ликует посетитель. А у директора новая задача: «Каким же цветом подписывать заявки?»

...Так и до бинома Ньютона можно додуматься.

БЕЛЬСКИЙ ДЕКАМЕРОН

У мужика пропала свинья. Ищет-ищет... И там, и сям. Заходит в лопухи. Что-то белеет, и звуки подозрительные. Как плетью жиганёт: «А, куда забралась, проклятая!»

А там парочка пристроилась. Увлеклись. А тут кнутом по заднице. Вскочили!

«Глядеть надо! Ищи в другом месте свою свинью».

«НЕ ТОЛЬКО ЖЕ МАЛЮТУ СКУРАТОВА...»

В девяностые годы прошлого века стал известным бельский поэт-самородок Алексей Роженков.

В тверских газетах цитировали его строки:

Позлащая лето, зацветают липы.
Липового цвета мы нарвать могли бы,
Липового чая заварить погуще,
Тонко различая аромат тягучий,
Золотые блюдца разложить по кругу,
Ясно улыбнуться друг для друга.

Предваряя его сборник, тверская поэтесса Галина Безрукова написала: «На первый взгляд он мог показаться простецким деревенским парнем с почти есенинским кудрявым чубом. Но лукавые чёртики в глазах, ироничная улыбка давали понять, что не так уж прост этот начинающий поэт из маленького городка с чистым названием Белый...»

К 50-летию поэта за подписью ведущих тверских писателей в «Тверской жизни» появилось поздравление Роженкову. Критик Владимир Кузьмин назвал его «бельским Буниным». Но самое интересное определение прозвучало от пенсионерки Ольги Казимировны Лисневской на страницах «Бельской правды»: «Вот какая Бельская земля: не только же она Малюту Скуратова произвела, но и поэта Алексея Роженкова».

Контрасты потрясающи. У Малюты Скуратова бегали не лукавая чёртики в глазах, а нечистая сила, побуждающая его пытать и казнить. Мой знакомый произнёс: «Мало быть сволочью, но надо стать такой сволочью, что и Грозному смог понравиться».

А Алексей Роженков не понравился заведующему тверской писательской организацией Евгению Ивановичу Борисову за то, что в Союз писателей Алексея приняли в Москве, минуя Тверь.

Но это уже иная история...